

Глава 12

На краю

Предопределенность и свобода выбора.
Победная «нормализация». «О самом главном».
Первая попытка бегства. Смерть отца.
Вторая и третья попытки

После подавления Пражской весны в среде советской интеллигенции широко распространилось мнение, что борьба с тоталитарными режимами невозможна и остается лишь путь «малых добрых дел», совершать которые можно, только если ладить с властями. Ну и конечно, остается пресловутое духовное самоусовершенствование.

Я не собираюсь здесь полыхать гневом по поводу такой точки зрения. Причина ее популярности, думаю, ясна. Но хочу отметить, что на самом-то деле при тоталитарных, а уж тем более авторитарных режимах время от времени возникают кризисные моменты их ослабления, растерянности властей, когда у людей «доброй воли» появляется возможность, объединившись (это неперемное условие), повлиять на положение вплоть до разрушения режима. Так произошло в Чехословакии в 68-м году, и тогда же подобная возможность была и у советских людей. Власти в Кремле находились в большой растерянности (до июля-августа 68-го). Но российская демократическая общественность не смогла воспользоваться кризисным моментом.

Да, прошлое предопределяет в той или иной мере общее направление истории, но всегда остается сектор свободы выбора дальнейшего направления развития. И от того, какое направление берет общество в рамках этого сектора, зависит, как будет ориентирован сектор свободы в следующей кризисной точке. Выбирая последовательно в каждой кризисной точке (в границах сектора свободы) одно и то же склонение, можно в конце концов загнуть «кривую» аж в обратную сторону! Такой, к примеру, процесс наблюдается у нас начиная с 1991—1993 годов.

Для режимов со скудной интеллектуальной основой и лживой природой характерно пристрастие к примитивным и туманным терминам. Прицепятся к этим терминам и мурыжат их до посинения: «культ личности», «ограниченный контингент» (в Афганистане), «реформы», «установление конституционного порядка», «антитеррористическая операция» и т. п. Сейчас вот главное слово-заклинание — «стабилизация». Стабилизация чего — процесса разрушения, разграбления, вымирания, геноцида? Неважно! Главное, что — «стабилизация»! Она как бы ценна сама по себе. А в 68-м году советская пропаганда прицепилась к термину «нормализация». Чуть сюжет кинохроники о Чехословакии, так замелькала «нормализация».

На деле «нормализация» вылилась в тотальную реакцию и деморализацию общества, в усиление угоднических и упаднических настроений. Улетучились последние надежды на какую-то новую «оттепель». Стало ясно, что Советский Союз был и остается «жандармом Восточной Европы».

И люди быстро менялись. Те, которые еще вчера симпатизировали Пражской весне, стали находить в ней пороки или «тяжелые ошибки», а в действиях властей (по «нормализации братской Чехословакии») — рациональное зерно, объективную необходимость.

Осмелели скрытые сталинисты и откровенные карьеристы. Один знакомый журналист, рафинированный интеллигент, говорил мне по поводу вторжения в Чехословакию:

— Теперь все в порядке! Решался вопрос, когда быть войне — в ближайшее время или через 10 лет. В Чехословакии все уже было готово к восстанию и к вторжению войск ФРГ в помощь восставшим.

— Но почему же протестуют европейские компартии? — спросил я.

— Они плохо осведомлены. Поскулят и заткнутся. Как в 39-м году! Куда они денутся?!

Появились после 1968 года и первые оппозиционные русские националисты, а среди евреев — сионисты, думающие о том, как бы уехать в Израиль или через него на Запад. И те и другие существовали, наверное, и раньше, но видно их не было. И те и другие вышли на поверхность в результате деморализации общества, вызванной крушением надежд на демократизацию советского режима.

Под знамя русского национализма перешли писатели-сталинисты. Такие, как И. Шевцов (роман «Тля»), Семанов, Сафронов, Кочетов, Грибачев. Режим находился в глубокой стагнации, утратил былой динамизм. Партийно-государственный аппарат был уже построен и рост его шел гораздо медленнее, чем в довоенные годы. И не было уже сталинского террора, расчищавшего места на верхних этажах власти. Сложился устойчивый слой научной и гуманитарной интеллигенции, и в научном мире все лучшие места были также заняты. В результате на нижних ступенях иерархических лестниц и на подходе к ним начали скапливаться молодые честолюбивые кадры. И среди молодежи, не обремененной способностями, знаниями и излишней нравственностью, но имевшей чистый «пятый пункт», стала набухать ядовитая злоба и намечаться «партийная» программа. Прежде всего виноваты, конечно, евреи: засели везде и русских не пускают. Им помогают гнилые русские интеллигентки, опутанные евреями или продавшиеся им. И все они преклоняются перед растленным Западом. Трусливые же партийные бюрократы разжирили и цацкаются с этими «ревизионистами» и «сионистами». Сталина на них нет!

Разумеется, программа эта и приверженные ей националистские группы складывались без помощи КГБ и партийных кругов, рассчитывавших, видимо, использовать национализм в своей борьбе за верховную власть.

Из толп, застрявших внизу у подножий карьерных лестниц, рекрутировалась и значительная часть «нормальных» «демократических» диссидентов, в силу каких-либо причин не predisposed к национализму. Среди них начались аресты. В Уголовный кодекс были введены статьи против диссидентов (1901, 70 и ряд других).

Мой друг, юрист, работавший в Комиссии законодательных предположений Верховного Совета, рассказал мне поразительную историю. В проекте законодательства против диссидентов, подготовленного в ЦК, стоял даже пункт: «За распространение анекдотов и измышлений, порочащих выдающихся деятелей Советского государства». Маститые юристы из Комиссии законодательных предположений, получив проект на обработку для придания ему юридического лоска, ужаснулись и отправились в ЦК.

— Придется заводить в этом случае, — сказали они авторам проекта, — список «выдающихся деятелей» и придется его публиковать, чтобы люди знали, о ком нельзя анекдоты рассказывать. И придется установить какие-то сроки и порядок пересмотра этого списка, так как, очевидно, некоторые выдающиеся деятели будут время от времени по разным причинам из него выбывать, а другие — прибывать.

Жириновские сталинисты в ЦК, как я это себе представляю, бросив подозрительный, недобрый взгляд на юристов, почесали свои крутые затылки и, тяжело вздохнув, вычеркнули пункт об анекдотах из проекта.

Для меня период «нормализации», кроме крушения с книгой и отказа в приеме в Союз писателей, обернулся еще и потерей работы в «Литгазете». Социологическое обследование читателей было закончено, но меня не перевели в штат газеты, как то было договорено. Без всяких объяснений. Редакции освобождались не только от идеологически порочных рукописей, но и от идеологически неблагонадежных писателей и журналистов. Сказалась здесь, наверное, и история с «Почтовым вагоном», из-за которой я, видимо, угодил в черный список КГБ или ЦК.

О том, что мое имя было в таком списке, говорит и тот факт, что мне перестали давать заказы и командировки даже в тех редакциях, с которыми я раньше успешно сотрудничал. В результате положение мое сделалось, мягко говоря, не из веселых.

После потери работы в «Литгазете» я стал форсировать завершение работы над рукописью книги «О самом главном», некоторые фрагменты которой уже знакомы читателю, и закончил ее в 69-м году, перед первой попыткой бегства.

Когда сейчас перечитываешь рукопись, понимаешь, что ничто так не передает атмосферы той жизни и моего положения в ней, как текст этой работы. Приведу здесь введение к рукописи и послесловие к ней.

Введение я даю в сокращении.

«Введение

Итак, впервые в жизни я пишу свободный, неподцензурный текст. И пишу о самом главном: о судьбе России, социализма и человечества, о возможных путях выхода из того апокалипсического тупика, в который завела Россия самое себя и весь мир.

И скажу сразу, больше всего меня пугает барьер непонимания, существующий, очевидно, между Западом и Востоком. Непонимания до конца всего того ужаса, который царит по восточную сторону от «железного занавеса»...

Да и советские люди, по крайней мере большинство, не осознают до конца ужаса своей жизни. Только в отличие от людей Запада они этот ужас чувствуют, но вытесняют из сознания, чтобы не прийти в отчаяние, так как никакой реальной возможности для борьбы они не видят, ни для борьбы, ни для бегства. ...

Всем, кто сомневается или не видит апокалипсического характера «советского» режима, хочу с самого начала попытаться показать и доказать (и потом уже освободить себя от этой работы), что дело обстоит именно так, и что советский режим невозможно очернить по той простой причине, что он на деле чернее любых самых черных и злопыхательских о нем представлений.

Это необычное и странное свойство советского режима является следствием его принципиального отличия от всех самых порочных режимов прошлого. Следствием именно того обстоятельства, что Зло, «дьявольская мысль» дошли здесь до своего конечного совершенства. Прогресс, конечно, и тут еще возможен (и в высшей степени вероятен), но только в количественном отношении. В качественном же, в конструкции — идти дальше некуда: человек при советском режиме до последнего предела лишен всяческих прав и возможностей. Возможностей

бороться, защищаться, объединяться, протестовать, даже громко жаловаться. Как при абсолютном нуле у него осталась только одна степень свободы — вращаться вокруг собственной оси!

Власть же соответственно до предела лишена ответственности перед обществом, и в результате лишена возможности делать что-либо кроме зла — в конечном итоге всех своих начинаний и дел.

И для того чтобы понять, увидеть и доказать все это сегодня, уже не надо углубляться в тонкости политэкономии, в конструкцию и механизм режима и не надо обладать гениальной прозорливостью. Достаточно только вдуматься хотя бы в один лишь «простой» и бесспорный факт. Факт этот — существование массового людоедства в СССР. Именно людоедства, ибо никак иначе нельзя назвать истребление до

30 миллионов собственных граждан за 20—25 лет, подавляющее большинство из которых было ни в чем не повинно и предано режиму...

Но слишком трудно человеку осознать до конца всю смертоносную сущность советского режима, слишком она чудовищна: 30 миллионов погибших ни за что ни про что — этот факт просто не проходит по габаритам в наше сознание, как и многие другие подобные факты.

И возникает психологический феномен: сама чудовищность преступлений приводит к их непознаваемости, производит тормозящее действие на сознание. Вот, скажем, плохая торговля, некачественность производства — это понятно, об этом мы думаем, это нас возмущает. Ах, хлеб насущный плохого качества! А то, что он растет на костях злодейски умерщвленных людей — об этом не хочется думать. Ведь совесть у нас все-таки есть, и если думать об этом, то значит и хлеб этот кушать — преступление, и делать что-то надо...

Существует, видимо, феномен непознаваемости предельного зла. Зло, доведенное до предела или близко к тому, обладает свойством маскировать и укреплять самое себя.

Когда Гитлер, Муссолини и их приспешники откровенно нацепляли на себя черепа и кости и так же откровенно исповедывали войну, насилие и смерть, легче было осознать их суть, да и то не все сразу осознали!

А тут серп и молот вместо черепа и костей. И люди живут — работают, любят, разводятся, изобретают, часто полезные вещи, пишут, выступают, спорят, о чем, конечно, можно спорить и что не противоречит очередной кампании. И все это нас усыпляет, порождает иллюзии, надежды.

Но нам еще и оттого трудно осознать предельное выражение зла, что оно всегда состоит из ряда предельных слагаемых, которые маскируют и подкрепляют друг друга. Мы же эти слагаемые невольно рас-

членяем, исследуем отдельно и не видим причин их особой дьявольской силы. Цемент можно расколоть, железный прут согнуть, а вот когда они один в другом...

Когда западным людям рассказываешь о советской жизни, о какой-нибудь одной ее стороне — обо всем сразу ведь невозможно рассказать — они часто восклицают: «У нас то же самое!». При этом они забывают, что в других-то областях у них не «то же самое». И поэтому упускают из виду «эффект железобетона», а вследствие этого — и степень, количество «того же самого» в Советском Союзе. А количество ведь переходит в качество!..

Многие мыслящие люди в Советском Союзе убеждены, что «советская» власть еще не сказала своего последнего слова, еще не исчерпала всех своих злодейских потенций, в том числе и по отношению к своим врагам — соседям. «Мы форсировали Одер, а вы будете форсировать

Атлантический океан!» — сказал как-то при мне двум юношам заместитель главного редактора «Литературной газеты», слышший в Москве либералом...

Не составляет никакого сомнения, что Советский Союз давно бы уже применил атомную бомбу, если был бы способен защититься от ответного удара, как были способны к этому США до конца 50-х годов. Там, где советский режим имеет возможность безнаказанно применять силу, он ее и применяет, не считаясь ни с чем. Венгрия, Чехословакия — достаточно яркие примеры. ...

Мы в Советском Союзе сочувствуем борьбе западных демократов, но одновременно с этим мы часто и проклинаем вас, товарищи западные демократы, за ваше непонимание чудовищности нашего режима. Вы боретесь за права негров, а мы мечтали бы быть на их месте!.. Вы боретесь за невмешательство ваших стран в чужие дела и ходите на свободе, а наши люди сидят в сумасшедших домах лишь за самую мирную попытку протестовать против оккупации Чехословакии. У вас издаются просоветские, коммунистические газеты, а у нас без суда людей сажают в тюрьму за самостоятельное изучение Ленина, как это было в Московском университете!..

В 1917-м году мой отец, вернувшись из Америки в Россию, в Октябрьские дни удостоился чести вручить, по поручению Военно-Революционного комитета большевиков, ультиматум о капитуляции командованию «белых» в Москве. А я живу мечтой дожить до того дня, когда мне или моим единомышленникам предстанет великая честь вручить ультиматум о капитуляции «красным» — красным от крови замученных ими людей».

Таково было настроение, таков накал.

Время размылось в моей памяти. Мне кажется, что я очень долго готовился к бегству, а когда сопоставляешь даты, то выходит, что всего около года. Видимо, время для меня тогда очень уплотнилось.

Бежать я решил из южного Азербайджана в Иран по Каспийскому морю. Из Ирана, как я уже говорил, я думал пробиваться в Англию.

С приближением дня отъезда в Азербайджан в груди разрастался холод страха. И очень жалко было родителей, мучительно было смотреть им в глаза. Жене было легче: ее родители жили тогда в Праге. (Ее отец, напомним, руководил Международным объединением журналистов.) Очень тяжело было прощаться (про себя!) и со старшим сыном, с которым мы тогда хорошо дружили. Грустно было и расставаться с друзьями. Ну и конечно, ужас брал перед неизвестностью, ждавшей нас впереди. И в море, и за границей в Иране, хотя я знал, что Иран не выдавал простых перебежчиков. Но труднее всего было приучить себя к мысли, что возвращения быть не может, не будет. Я продал в букинистический магазин свою небольшую, но дорогую мне библиотеку. Ведь она мне уже не понадобится — возвращения не будет!

Все свои бумаги и предметы, которые я брал в лодку и которые могли выдать истинные наши намерения в случае столкновения с пограничниками, я поместил в полиэтиленовые мешки, чтобы можно было быстро выбросить их в море. Мы, разумеется, намеревались в этом случае говорить, что просто заблудились.

Когда мы прибыли в намеченный пункт — Аляты-Пристань, последний перед запретной пограничной зоной поселок, нас охватил, что называется, тихий ужас. Это был нищий и дикий край. Примитивные жилища с земляными полами и полное отсутствие какого-либо ту-

ризма. Мы были там как белые вороны, и местные жители пялили на нас глаза. К счастью, в поселке оказалось несколько русских, «европейских» (!) домов, и в одном из них нам сдали комнату. И стоял этот дом на самом берегу залива! От хозяев мы вскоре узнали, что в открытом море все время штормит и «крейсер», как они говорили, дежурит.

Но мы собрали лодку — мы же туристы, отдыхающие, и надо отдыхать! Стали плавать по заливу, и когда подошли к выходу из залива, увидели, что дело наше, действительно, плохо: в море катили свирепые волны и вдали маячил какой-то военный по профилю кораблик — «крейсер». От наших хозяев я узнал, что спокойных дней на Каспийском море почти не бывает. Позже я прочел, что это море — одно из самых беспокойных из окружающих Советский Союз морей и что в нем очень жесткая, тесная волна. Ведь Каспий — большое озеро.

Несколько дней мы плавали по заливу, подходили к открытой воде и возвращались. Волны не уменьшались. Не помню, в какой из дней мы разобрали лодку, упаковали вещи и отправились в обратный путь. Настроение было хуже некуда! На аэродроме в Баку у меня начались вдруг странные острые боли в животе. Потом выяснилось, что это язва! Такой силы был стресс от неудачи, от того, что все-таки пришлось возвращаться и что попытка оказалась позорно непродуманной.

В Москве, придя в себя, я решил повторить попытку на следующее лето, в 1970 году. На этот раз — с побережья у эстонского города Пярну в Рижском заливе. Плыть собрался к шведскому острову Готланд. Путь до него был большой (много больше, чем от Аляты-Пристанни до иранской территории), и я решил обзавестись мотором, чтобы идти на нем большую часть пути. Лишь охраняемый выход из залива намеревался пройти ночью на парусе и веслах. На этот раз я уже заранее выяснил, что в июле Балтийское море обычно спокойно.

Смастерил из брезентового мешка и волейбольных камер поплавок для устойчивости, который крепил сбоку лодки на дубовых рейках. Получилось что-то вроде пироги или катамарана. Купил мотор. Все это, конечно, требовало больших усилий, денег. Но мотор в первую же тренировку заглох, и навсегда! В мастерской мне сказали, что чинить эти моторы невозможно: они, как правило, делаются из бракованных деталей.

Я поехал на завод, располагавшийся, к счастью, под Москвой. Завод авиационных, заметьте, моторов! Лодочные моторы были ширпотребовским приложением к основному производству. Предъявил мотор и сохранившееся у меня удостоверение журналиста «Литературной газеты», плюс старую справку об экспедиции из Географического общества. На заводе засуетились и сменили все бракованные детали на хорошие и при мне провели и специальные испытания мотора. Работал как часы!

Интересно, что в этот момент вновь возник «разнообразный» Жора Владимов. Я как-то приехал к нему домой и через приоткрытую дверь его кабинета увидел... разобранный лодочный мотор! Читатель помнит, что именно Владимов в 1956 году (после подавления венгерской революции и сворачивания «оттепели») заронил во мне мысль, что «впору и лодку готовить».

На столе я заметил также пачку журналов «Катера и яхты». Поинтересовался: новое увлечение? Жора кивнул и стал распространяться о том, что теперь это, мол, остался единственный антисоветский журнал. Цензура на него внимания не обращает, и там в редколлегии собрались отпетые «ревизионисты» (тоже модное было слово в эпоху «нормализации», как сейчас «террористы»). В журнале этом под видом описания путешествий на катерах и яхтах та-

кую крамолу загибают! — объяснял мне Жора. Живописуют наши ужасы, если описывается путешествие в «лагере социализма», или — западные красоты, если рассказ идет о путешествиях за рубежом. И между делом, усмехнулся Жора, даются советы, как безопаснее за бугор уплыть! В косвенной, конечно, форме.

Я спрятал свои загоревшиеся глаза и этак нейтрально попросил у Жоры парочку журналов почитать. И действительно наткнулся на очень важную информацию. В одном из журналов сообщалось, что для предотвращения ночью или в тумане столкновения маленьких, низко сидящих в воде яхт или лодок с кораблем или катером надо укрепить на мачте вашей лодки, на высоте не менее, кажется, двух метров круглый жестяной диск диаметром в полметра, точно уже не помню. В этом случае радар корабля заметит этот диск и вашу лодку!

Эта информация очень приободрила меня, и, как понимает читатель, я не кинулся мастерить такой диск. Нашел я там и еще ряд полезных советов.

Сейчас я не могу понять, почему я так и не спросил Владимова, когда встретился с ним уже в эмиграции, хотел ли он бежать на лодке и пытался ли? Как не спросил и о том, какова была судьба его антисоветской партии, в которую он, как помнит читатель, приглашал меня вступить где-то в конце 50-х годов. В эмиграции мы с ним вскоре резко разошлись и перестали общаться. Владимов приехал в эмиграцию национал-патриотом и пошел в НТС, стал редактором журнала НТС «Грани».

Однако новую попытку побега мне пришлось перенести еще на целый год, так как 1 марта 1970 года на

85-м году жизни скончался мой отец, и я не мог в тот год оставить мать. Тем более что она перенесла тяжелейшую операцию желудка. Его вырезали целиком: он был съеден язвой, которую врачи кремлевской больницы не могли обнаружить на протяжении многих лет все усиливающейся болезни. Отец умер от переживаний за мать — на другой день после операции. Когда мать положили на операцию, то в больницу взяли и отца, на случай какого-либо кризиса из-за волнения. Кремлевская все-таки была больница, гуманная! Но кризис у него тем не менее случился — удар, видимо, инсульт. Он впал в кому и не вышел из нее.

В течение нескольких дней после смерти отца мне пришлось по совету врачей, лечивших мать, скрывать от нее, что отца уже нет. Она была еще очень слаба после тяжелейшей операции. Каждый день, навещая мать, я говорил ей, что папа себя плохо чувствует, потом — еще хуже... Это была для меня сущая пытка.

Наконец я пришел и сказал, что отец умер. Мама вскрикнула и схватилась за меня, обняла, прижалась. «Будем жить?» — вырвалось у нее. «Да», — сказал я нетвердым голосом. Ведь у меня за пазухой лежал камень: неотвратимое решение о бегстве из России.

Прощалась мама с отцом в морге кремлевской больницы, маленьком домике, стоявшем в окружающем больницу сосновом лесу. Нас с ней подвезли к моргу на больничном автобусе. В памяти остался яркий, солнечный мартовский день, высокие сосны, блестящий снег между ними. «Какой красивый!» — воскликнула мать, увидев отца в гробу.

В связи с похоронами я столкнулся с еще одним оидозным проявлением «экзистенции» режима. После смерти отца встал вопрос — где хоронить? Мама надеялась, что отца можно будет похоронить на Новодевичьем кладбище. Но она оставалась в больнице, и все хлопоты легли на меня.

В Литературном фонде ССП, который ведает похоронами писателей, меня уговорили согласиться на кремацию, так как для урны нужно меньше места и легче, мол, будет найти «землю» на кладбище. Я согласился. Но после кремации мне в Литфонде заявили, что Новодевичье кладбище находится в ведении ЦК КПСС, и там осталось мало свободного места, поэтому «похоронный отдел ЦК» не может выделить землю для урны отца, а лишь ячейку в колумбарии — в кладбищенской стене. Мама с гневом отвергла это предложение. «Ну что ж, мы ничего не можем поделать, — сказали в похоронном отделе Литфонда. — Придется хоронить за городом, на одном из новых кладбищ, в городе все кладбища уже закрыты.»

А новые кладбища имеют удивительно унылый вид, плюс полтора-два часа езды с пересадками.

И тут опытные люди мне объяснили, какую роковую ошибку я совершил, согласившись на кремацию. Вас обманули! Если бы у вас на руках был труп отца, они вынуждены были бы найти место. А урна с прахом может стоять на складе в крематории сколько угодно. Пока вы не сдадитесь!

Я взбесился, стал звонить, прорываться к руководителям ССП, в том числе и к «гимнописцу» Михалкову, и они снизошли. Мне сообщили, что Союз писателей выхлопотал место для урны в земле на старом Введенском кладбище, расположенном в городе и находившемся в распоряжении городского Комитета партии. Это бывшее Немецкое кладбище в Бауманском районе Москвы, где в XVIII—XIX веках находилась Немецкая слобода. Кладбище было хорошее, ухоженное, стояло в красивой старой лиственной роще. Я уговорил мать согласиться на это кладбище.

Однако приключения на этом не закончились. Получив соответствующий документ в похоронном отделе Московского горкома КПСС, я поехал на кладбище получать землю и заказывать рытье могилы. Но в конторе кладбища произошло что-то странное. Служащие тщательно, долго читали бумагу из горкома, подозрительно взглядывая на меня. Попросили паспорт. Затем предложили подождать, и одна из сотрудниц куда-то ушла с моими бумагами и паспортом. Появился милиционер, уселся около двери за моей спиной. Пришел главный, видимо, кладбищенский начальник. Начался форменный допрос: как, где и почему я получил разрешение на землю? Потом начальник звонил в похоронный отдел горкома. И только после этого он отдал распоряжение оформлять мой заказ на могилу.

— Вы уж на нас не сердитесь, — сказала служащая, когда начальник вышел. И поведала мне о причине всей этой странной суеты и допроса. Оказывается, незадолго до меня пришел к ним некто с такой же бумажкой из горкома КПСС, оформил заказ, но земельный участок заказчику не понравился. Он дал рабочим хорошую сумму «на лапу», и те вскрыли для него какую-то очень старую немецкую могилу. Выбросили останки, украли памятник и предоставили могилу расторопному клиенту. Прошло некоторое время, и вдруг из ФРГ в Москву впервые прилетели родственники покойника, останки которого были выброшены из могилы. Причем, видимо, влиятельные люди. Не найдя могилы родственника, подняли скандал. Посольство ФРГ поддержало их — и началось! На кладбище прибыла опергруппа КГБ, пошли допросы, арестовали рабочих и служащего конторы. Кого-то из арестованных выпустили, но сняли с работы, кого-то отдали под суд. Незаконного владельца чужой могилы выкопали, возвратили на место старый памятник. Не знаю уж, что под него подложили.

— Так что вы уж нас извините, — закончила свой рассказ служащая. — Мы такого страху здесь натерпелись, что теперь всех клиентов тщательно проверяем. Ведь оказалось, что тот аферист и бумагу из горкома по блату получил.

Мама все не шла на поправку, и я один присутствовал на прощании с отцом в ЦДЛ. Пришла группка старых друзей отца и матери, в том числе и милейший Иван Иванович Безродный со своей супругой. Никого из писательских «генералов» в зале не было. Под самый конец церемонии вдруг сверху спустился Сергей Михалков, занимавший тогда пост председателя Союза писателей РСФСР, со свитой писательских чиновников. Видимо, кто-то сказал ему, что неудобно все-таки, что у гроба Билль-Белоцерковского нет никого из руководства ССП. Михалков пожал мне руку, сказал дежурные слова соболезнования и тут же удалился — продолжать руководить русской литературой.

Ко мне подошли похоронные рабочие Литфонда и попросили обещанную им сумму денег. Я выдал деньги, и... рабочие исчезли! Они должны были нести гроб в автобус и потом в крематорий. Я растерялся... Но выручил Иван Иванович, еще крепкий человек. Я встал впереди, он подхватил гроб сзади, по бокам поставили старичков-пенсионеров. Вот мы с ним вдвоем и были главной тягловой силой.

Ужасна была моя инфантильность: я не организовал никаких поминок и никогда больше не видел Ивана Ивановича, чего никогда себе не прощу.

В крематории меня ждало еще одно приключение. Когда мы внесли гроб в зал, меня позвали к какому-то окошку и потребовали заполнить анкету! Я написал фамилию и имя отца, дату его рождения и смерти, подписался и пошел к гробу.

— Гражданин! — закричала тетка из окошка. — А национальность!? Вы не указали национальности вашего покойника!

— Еврей! — заорал я в бешенстве. Иван Иванович обнял меня и оттащил от окошка.

Сквозь слезы я видел, как гроб уходил в пылающее жерло печи.

Похоронив в земле урну отца, мы с мамой начали долгую войну за памятник, точнее, за камень для памятника. Оказалось, что и камни эти — страшный дефицит, и даже Литфонд Союза писателей должен их дожидаться по несколько лет. Отец умер в 1970 году, а мать — в 1978-м, так и не дождавшись «камня». Он подоспел лишь через год после ее смерти.

Между тем мое финансовое положение становилось все более тяжелым. Я доедал свой гонорар за неизданный сборник рассказов, который я получил, точнее, вырвал у издательства с помощью адвоката. Снова предпринял попытки найти работу. И вновь — безуспешно. Попытался даже пойти работать на химический завод рабочим.

— С высшим образованием, — сказали мне в отделе кадров, — мы вас простым рабочим взять не можем.

И пошутили:

— Советский Союз — не капиталистическая страна, у нас инженеры рабочими не работают!

А работать инженером я не мог: в МГУ нас не готовили к этой профессии, да и после окончания университета прошло уже 18 лет! Для научной работы я по этой причине тоже уже не годился.

Настроение мое в тот период хорошо передает послесловие к рукописи «О самом главном», которую я продолжал между делом доводить, редактировать.

Послесловие

«Вот я и закончил свой «труд жизни» — сгусток моих неотвязных дум, боли, недоумения, мечтаний, ненависти, источник моей гордости, силы и надежды, помогавшей мне оставаться в живых и Человеком в душном и ничтожном, призрачном и самоубийственном существовании. Что она из себя представляет — эта моя работа? Пробьется ли она в мир живых и я — вместе с ней? И какое действие мы произведем? И увижу ли я гибель супостата?»

Сколько лучших лет потеряно для настоящей жизни в этом проклятом аду! Но я, как и все, чего-то ждал... Ожидание — это главное, чем живут все в советском аду. Ждут и беду (и она-то приходит), но бессмысленно ждут и чего-то хорошего (даже боясь сказать себе — свободы), на что-то еще надеются. По анекдоту: «Как живете? — С надеждой. — Ну, с этой б... все живут». Живут, ждут и делают все, кроме того что надо было бы и стоило бы делать, задыхаясь от ужаса ничтожных, никому не нужных «дел, делишек, подобия дел» и иссушающих забот.

«Неужели я никогда не добегу до дома, к которому я НЕ бегу?» — гениально определил суть нашей жизни Булат Окуджава. И решусь ли я, и удастся ли мне наконец побежать и добежать?! Совершить чудо воскрешения — вырваться из преисподней в мир живых? Или я и мой крик — эта моя книга, так и не разомкнем тисков кошмара, не пробьем космической толщи небытия, отделяющей нас с нею от живого света? Толщи, под которой бьется на грани отчаяния моя странная, призрачная, почти нереальная жизнь. Будь она проклята и я вместе с нею, если я так и не смогу решиться побежать или хотя бы закричать.

9 апреля 1971 г.»

Вторая попытка бегства сорвалась из-за жены. Напуганная, видимо, первой попыткой, она сознательно или интуитивно тянула время: не брала отпуск, говорила, что из-за срочной работы отпуска ей не дают (она работала в АПН переводчиком с английского — отец устроил!). Увольняться же с работы она не должна была, чтобы в случае задержания пограничниками можно было говорить, что мы не собирались бежать, а заблудились, потеряли направление.

Отпуск жена взяла только в августе, и когда мы приехали в Пярну, там уже начались штормы. Я ходил на метеостанцию местного яхтклуба и не услышал ничего утешительного. Спокойный летний сезон кончился за несколько дней до нашего приезда.

Пришлось вновь возвращаться в Москву несолоно хлебавши. На этот раз я перенес возвращение с тупым безразличием.

У читателя, способного к сопереживанию, может возникнуть очень тяжелый для меня вопрос: как мог я пытаться бежать из страны вскоре после смерти отца, оставляя мать одну? Ответить очень сложно. Видимо, «призрачность» жизни притупляла сознание и чувства.

Осенью 71-го года по возвращении из Пярну я встретился с одним из тогдашних активистов еврейского движения за эмиграцию — Давидом Маркишем, сыном расстрелянного при Сталине еврейского поэта Переца Маркиша. Он рассказал мне о положении с эмиграцией по израильским вызовам, которая началась годом раньше.

Я смутно слышал об этой эмиграции, но полагал, что мне на нее рассчитывать не приходится: вряд ли власти согласятся выпустить на Запад, думал я, сына Билль-Белоцерковского.

Но Маркиш рассказал мне, что уже удалось уехать нескольким людям «с именами» и что у меня тоже есть шансы, хотя придется, наверное, побороться. И я, подумав, передал Маркишу необходимые данные для вызова — на меня, мою семью и на мать. Решил предпринять третью попытку. Разумеется, я не намеревался ехать в Израиль. Я понимал, что моя цель и планы будут там неактуальны.

Маме я ничего не сказал — решил зря не волновать, а дожждаться сначала вызова из Израиля. Дойдет ли еще вызов! Я слышал, что советская почта иногда вызовы не доставляла. Но я знал, что мама не поедет. Я уже говорил ей, что думаю об эмиграции. «Вы езжайте, — сказала она. — Тебе здесь жизни нет! А я не могу оставить могилу отца. Да и поздно мне уже. — И добавила: — И уж извини меня, не хочу я жить на вашем иждивении...» Мама не доверяла жене, считала ее холодной и эгоистичной. Однако вызов на нее я все же заказал. Не мог не заказать. А вдруг!

И вызов дошел! Где-то в начале 72-го года.

Однажды, когда мы ужинали — мама, жена, сын и я, — раздался звонок в дверь. Я приоткрыл ее и увидел незнакомую почтальоншу. Сердце у меня екнуло в предчувствии. Глядя на меня с ненавистью, почтальонша протянула мне конверт, длинный, красивый, заграничный. Черные ивритские буквы горели на твердой белой бумаге конверта. «Неужели вызов? Дошел!» — мелькнуло у меня в голове.

Долгие мгновения я не мог вскрыть конверт, стоял, держа его в руках. Наконец решился. В конверте был вызов. И приговор — оставить навсегда прежнюю жизнь, маму, могилу отца, Кратово, Арбат (где мы жили после моего развода с первой женой), родину, постылую и все-таки дорогую, потому что с ней я оставлял свою молодость, свои любви, друзей. И это был приговор отправиться в неизвестность, в другой, чужой мир, хотя, наверное, и прекрасный, но чужой, отправиться навсегда, навечно. Пережить советский режим, вернуться назад не было никакой надежды.

Мама вышла из-за стола и подошла ко мне. «Дай бог вам счастья наконец! Хорошо, что отец уже умер...» — сказала она и обняла меня.

Я продолжал оставаться в своей квартире, с мамой, в том же городе, стране, но белый «слоновой» бумаги конверт и его содержимое уже отделили меня от всего окружающего. Я был тут и не тут, где-то в щели между миром старым и будущим.